

Ночь была последняя для весны и для мамы. Окна стояли распахнутыми, на синих сопках полосками лежал туман. Встали в пороге, выброшенные из сна, несобранные. Слушали шевеление невесомой занавески. Наконец кто-то выключил вентилятор с потерявшимся пультом. Брат положил маме руку на живот, кивнул: всё.

Игнорируя время суток, в комнату влетела оса — видимо, проститься. Последние дни она часто навещала маму. Теперь осу никто не прогонял, и, покружив над телом, она медленно, будто шагая, а не летя, вышла в окно.

Смерть мамы была ожидаемой и даже где-то всеми жданной. И она пришла — строгим удивлением на её лицо, обязательным чувством вины и несделанности чего-то в души близких. Именно общее желание скорого конца казалось теперь малодушием и предательством, хотя как раз этого и хотела мама. Она умирала от голода и удушья, пока болезнь поедала её брюшину, подбираясь к лёгким и горлу, и, неостановимая ничем, наконец съела всё. Её ненасытный размер пугал. Казалось, всё, что было телом мамы, мягким, пышным, таким очаровательным в бабушкином возрасте, опухоль втащила в себя, в тяжёлый неповоротливый мешок, всосав и ткани, и кровь, оставив только подпухшие суставы.

Свою скорую кончину мама выбила в небесной канцелярии с тем же упорством, с каким жила. Её диалоги с миром, сокрытым, потаённым от живых, мы с Сашей ночами записывали на бумажках, так и не сообразив завести для этого блокнот. Не думалось, что её последние всенощные и заутренние беседы будут долгими и содержательными. Голос её в эти минуты становился живым и чистым. И до последней минуты мама не перестала подсмеиваться и спорить. Даже с небесными силами. — Здравсьте, приехали... И сколько ещё? Сколько?.. Устроились! И детей тут мучить...

Она вела яростные переговоры с не видимой и не слышимой нами стороной и таки выторговала себе день смерти:

— Тридцать первого... хорошо, хорошо... Всё. Давайте...

Утром она очнулась и сказала мне:

— Скоро уже, не переживай. Всё успеешь. Я не долго...

Она будто извинялась, что доставила мне хлопоты.

— Всё у тебя сладится — работа, дела... Как ты хочешь получится... И ни за что никогда в жизни не переживай, — потом помолчала и добавила, открыв мне секрет: — Если бы вы знали, какой всё это бред... Люба, какой бред весь этот белый свет!

Всё это уже говорилось обмякшим, неповоротливым сухим языком, еле слышно.

Ещё писал бумаги милиционер, кивая, пощёптывая, а уже вспомнился целлофановый пакет, именно целлофановый, а не полиэтиленовый, громко шуршащий подарком из детства, пакет с вложенной пачкой тетрадок и бумаг. «Личное», — размашистым, крупным маминым почерком написанное было адресовано мне. Потом, всё потом. Страшно открыть сразу и узнать что-то ненужное.

Когда тело выносили санитары, с крыши сорвалась стая голубей и заметалась у открытого окна. В этой дорассветной птичьей суете почудилось последнее, по-настоящему прощальное, и санитары тоже остановились, положив носилки на порог, глянули на птиц, перехватили руки поудобнее и вышли.

Дед опустился на кровать против той, где только что была мама. Некоторое время он сидел, отупев, раскачивался взад-вперёд и пытался завить. У него не получалось.

— Теперь надо следить, чтоб не запил, а то ж люди будут, — сказала Зойка.

Дед сидел долго, пока Зойка, шустрая братова жена, не вскинулась с уборкой. Делать это должны были по выносе покойника некровные люди. Получалось, что Зойка да Дед, мамин муж, получивший свой статус деда ещё в молодости из-за шикарной бороды. Носил он её всегда, сколько его помню, и ту пару случаев, когда сбирал, можно не считать, потому что его молодевшее без растительности лицо становилось глуповатым, а вздёрнутый нос, обнаруживаясь в самом центре обзора, портил общее впечатление от его фактуры и крепкой мужской красоты. Теперь борода его была снежно-белой, хоть и так же завидно богатой, всегда бодро летящей по ветру. К этому дню уже вынырнувший

из пьянки, с подбитым глазом и содранной щекой, Дед, стоя на лоджии с сигаретой, пытался пригладить свои волосы, сильно отросшие, как и борода, и полностью седые. Его ранняя густая седина не считалась следствием горя или стресса. Тонкие психические проявления любого ряда если и происходили в нём, то были так глубоко спрятаны, что принимались за притворство. Привычнее было, когда Дед все неприятности крыл родимым смачным словом «пое...ать». Заменить его невзрачным «наплевать», «пофиг» или «разберёмся» было никак нельзя. В этом похабном слове ярко прорисовывалась Дедова натура. Потому что именно такое насилие он совершал над любой бедой, о чём и заявлял, разбивая слово по слогам. Ему не было ни всё равно, ни наплевать, ни пофиг. — Дед, приходи в себя давай, мыть тут всё надо, — вошла на лоджию Зойка. — Денег ему не давай, а то нажрётся, — шепнула мне.

В комнате, вымытой холодной водой, в уставшей тишине засветившегося утра Дед оглядел мамину кровать без матраса, который вместе с подушкой вынесли на балкон, икону «Всех скорбящих радость», вырезанную из календаря, подождал, пока догорит свеча, и, примерившись, лёг на мамино место.

— Ты сдурел, Дед! — крикнула шёпотом Зойка. И уже в голос, нам: — Ну гляньте, ну чо это, а?

И все будто поняли, что теперь можно говорить вслух, что нет ни больного, ни покойника, что тут теперь только живые и здоровые и сохранять тишину нет смысла. Тишина умерла вместе с мамой. Она забрала её с собой, недолгую стылую спутницу последних дней. Голос Зойки, удерживающийся всегда на ноте «си», был и нужным сейчас, и невыносимым.

Дед повернулся на бок и закрыл глаза.

Зойка была третьей, закатной женой брата, из тех, которых берут со всем, что в них есть, — с возрастом, с долгами, с заревой любовью, заранее соглашаясь на их правду, со всеми выросшими детьми как с родными, с радостью ожидания некровных внуков как собственных. Брат принял всё настолько близко, что годами не виделся с единственным своим отпрыском. Первая его жена, родившая позднего сына, ушла от него, загуляв и потеряв разум от разгула.

— А Славка что? — интересовались те, кто приносил маме подробности.

— А что он? Телок...

Было в Надьке, первой Славкиной жене, какое-то природное паскудство. Не от намеренного желания, а от простого нутряного безудержья. И глазки её, с теснотой ресниц, постоянно светились такой простой блудливой радостью, что отказывались немногие, мимоходом гася огонь молодого,

неокрепшего очага или расшатывая опоры тускнеющего фасада семейной крепости. Выросшая на детдомовском сквозняке, Надька не переставала искать тепла везде, где его давали, и подолгу застревала там, где его оказывалось чуть больше. Мой уютный любовный очаг вызывал в ней плохо скрытую зависть, и только холодность, с которой мой муж держался в отношении её достоинств, останавливала горячие Надькины порывы. Упрочи же, где интеллект не поднимался выше пупа, натягивался гульфик, и Надька рвала плохо подхваченную узду. Дом у неё даже в худые времена оставался ухоженным, плотно набитым сундуком, в который сносились все те невозможные в детдомовской жизни предметы, что обещали семейные радости и сотворяли ощущение нажитого добра. От того же детдомства она любила праздники, сабантуйчики и щедро накрывала столы по любому поводу. Повод не заставлял себя ждать.

В телячьей радости позднего отцовства, в шаловливых жениных объятиях, в напичканной вещами и вещицами квартирке Славка многого не замечал, не хотел замечать, жил себе и жил, пока ему не указали на дверь. Так же негромко, с тем же бычьим спокойствием, с каким женился и встретил рождение сына, он собрал свой рюкзак и вышел. — Телок! — возмущалась мама. — Обобрала его до нитки! Квартиру его продала, гараж и дачу на себя записала...

Мамины слова стреляли в воздух и не достигали цели. Славка взял отпуск и уехал на рыбалку. Родившийся будто не от женщины, а от самой природы, он был в тайге у себя дома, и только там и пребывал с собой в гармонии, и только там его жизнь имела причину продолжаться.

— Не страшно тебе в тайге одному? — спрашивала я его в детстве.

— А кого бояться-то? — не понимал брат. — Людей нет, а зверь — он же умный...

Второй подругой Славки оказалась терпеливая, но дёрганая Людка. Угловатая, чуть вытянутая из-за худобы, не выписанная ни одной женской формой, она обладала ясными, чистыми глазами. Цвет их был удивительный, в тон светлому ореху, с тёмной окантовочкой по краю зрачка. Их молчаливое приятие родилось в тихих коридорах коммуналки, но Людка тогда была замужем. И только когда жизнь её пошла наперекосяк, закончившись разводом, она приняла Славку — с радостью, с памятью молодости об их быстрых взглядах, смущении и непререкаемых столкновениях в дверях общего пользования. Он, теряясь от порядочности новой жены и чистоты в отношениях в сравнении с бесстыжей Надькой, скоростижно оказался мужем во второй раз. Но то ли его страсть к рыбалке, то ли Людкина склонность к занудству не скрепили запоздалого союза.

Безработица свалилась как нельзя вовремя и вытолкнула Славку на заработки, прямоком направив его в первый же день командировки в руки Зойки, пахнущие пирожками и котлетками, наработанные, но ещё не уставшие, резвые до мужской силы. Как бычка к сену и тёплому стойлу, Славку потянуло из приисковой гостиницы в деревянный Зойкин сруб. За Зойкиным окном звенела речка Собака, в окно влетал ветер близкой тайги. К тому же Зойка оказалась заядлой рыбачкой. Что нужно было Славке для счастья, он всё нашёл, во всей мере и всём объёме, простом, кухонно-утварном, но так редко доступном незатейливому мужику.

Зойкин нехитрый быт, возведённый на простых житейских нуждах предков-хакасов, испортился во время свободного кредитования всех подряд. — Кредиты бывают двух видов, — говорил человек, знавший толк в денежных делах, — на бизнес и на потребление...

Зойка поехала на потребление. Её понесло, как несёт ветром пыль, а с ней прихватывая всё, что не сметено с дороги заботливой рукой уборщика. Убрать Зойку с кредитной трассы, усыпанной далеко не золотой пылью, было некому. Она рано вышла замуж, рано родила, рано осталась без мужа, рано выдала дочь, рано стала бабушкой, и к пятидесяти годам с ней уже случилось всё из того событийного, что может потрясти семейный клан. И все они — и участники событий, и сами события — были моложе её и давно ей не указчики. Да и у каждого, как говорится, свои лыжи, и каждый вострит их в свою сторону. Семь лет она была замужем за моим братом. Семь лет они сидели в затяжных, нескончаемых ссудах, оперев все мысли о добротном счастье в долги.

Не крещённая ни снегом, ни лепестками роз, ни через помазание маслом, ни сухим очищающим возложением рук, а, как она сама говорила, «погружённая» бабкой по забытому старообрядческому смыслу, Зойка переживала Славкино некрещение с детским страхом. Будто распознают его в толпе и — утащат. Кто, куда и зачем? Да мало ли? Поэтому он носил крестик на золотой цепочке, стоял на молитве, когда перед смертью к маме приходил батюшка причастить её, отстоял в церкви панихиду и не вздрогнул, когда с кадила слетела крышечка и подкатилась к его ногам. После долгих разговоров на кухне о православии и вере Зойка пугалась: — Креститься надо, Слава, — и жаловалась: — Но у нас же то рыбалка, то тайга...

Мама в своём коротком крещении была счастлива. Отдав себя под сень Бога на семьдесят третьем году жизни, после третьего захода в реанимацию, она перестала многого бояться. Понятия страшного греха она не успела объять, воспринимая свою жизнь уже как собственно искупление.

Не добралась до диких фантастических историй об ужасно мстительном Боге, зато скоро усвоила всё о Боге милостивом. Её младенческая православленная душа прикипела только к тому, что в вере было спасительным и прощающим, и не успела разобраться, почём платить за обиды. Она искренне верила, что не сотворила в жизни ни грамма зла, и всего лишь недоумевала, для чего и откуда оно встретилось ей. Мама захотела креститься исключительно из уважения.

— Явлюсь туда — и что? Ни чёрту кочерга, ни Богу свечка...

Давала дельные советы:

— Гроб не обивайте мне пионерским галстуком. Хватит мне того, что в день комсомола родилась. Что-нибудь такое, попримечнее, найдите.

Осталась верной себе:

— Жила как жила, то ладно. А туда-то надо всё-таки по-человечески, всё-таки там — не у нас тут...

Это было как при жизни: или сделать генеральную уборку для себя, или быстренько «прибраться для людей». Меня радовала её преданность себе. Она не притворялась, различая, что ею делается для проформы, а что как положено. Готовясь в путь насовсем, ей не хотелось упустить мелочи.

Мы успели пообщаться только в первый день встречи, все остальные дни стали её уходом.

— Финиш, приехали, — посмеивалась мама. — Видишь, какая красавица — ни кожи, ни рожи, одно пузо.

— Не думай об этом, — сказала я. — Рожа — это не важно. И это — не финиш. Твоя душа возвращается к себе домой. Она знает, откуда родом, и помнит свою прописку. Ей просто пора.

Мама подмигнула:

— Да и я устала. Пара лет последних точно лишними были.

— Ты ж сама просила у Богородицы пожить по-дольше!

— Да дураки же, годы просим, а про беды не спросим. Потом хлебаем, обратно просимся. Ты молитву за здоровье не читай, слышишь? Есть там какая-нибудь, чтоб побыстрее?

— Есть, — говорю.

— Ну вот её и давай.

Мы помолчали.

— Сделай мне всё по правилам, как положено, — напомнила мама.

Я кивнула. Со священником о причастии было уже договорено. Мне предстояло водить её беспомощной рукой, перекреститься сама она уже не могла.

— Хорошо, что приехала. Они же тут бестолковые — закопали б, и всё. Ладно, иди, а то голова от тебя кругом. Жалко, не успею тебе уже всего рассказать... Но ты напиши о нас, писательница ты моя... — Я напишу.

Детство мамы, безбедное и короткое, закончилось в пять лет: родился брат, а через крупную сибирскую станцию на запад пошли военные эшелоны. Бревенчатый дом путейских рабочих стоял у железной дороги. Люди привыкали к дрожанию стен и дребезжанию окон. Потом вечный стук колёс будет сопровождать нас по жизни. Как только в какой-нибудь точке страны начинал маячить огонёк новой стройки, мама откуда-то, видимо, из газет, узнавала об этом, и уже вечером на полу лежала разложенная карта, а рядом толстенная книга — «Атлас дорог». Мама вообще обожала карты и всякие справочники. У неё были книги о камнях, о деревьях, буклеты об островах, горах, путешествиях. Кроссворды разгадывала — как орешки щёлкала. Последний оставила недорешённым — за неделю до смерти...

Она нянчила брата, а когда укладывала его спать, бежала на станцию обменивать масло и сливки на вещи. Бабушка держала корову, но в доме молока было мало, похлёбки забеливали, но полными кружками молоко давали только больным. Денег в ходу не было.

В маленькой комнате стояла чистота, как в архиерейских покоях. Бабушка поручала начищать половицы песком и строго следила за порядком. Мамина мама и моя бабушка были в жизни два абсолютно несхожих человека. Я не могла себе вообразить, что бабушка берёт в руки лозину, наказывает пятилетнюю дочку за искромсанный в полоски лоскут, который ей выдали за работу, или жёстко отчитывает за неудачный обмен. Бабушка вообще была избирательна в любви. Не каждого она ею одаривала. Сыновья судьбы её волновали куда меньше маминой и моей. Две послевоенные дочери вызывали в ней озабоченность, но так и не удостоились высших чувств. Я всё это замечала, но не умела понять почему.

С обидами мама летела к прадеду. Белый, как лунь, прадед прожил долгую жизнь, пережив четырёх императоров, и умер уже после Второй мировой войны, в царствование деспотичного грузина, достигнув почти ста лет, в напрочь советские времена.

Миротворческое правление Александра Третьего позволило процветать народничеству, и время пришлось на юные годы пращурца. Подцепив в столицах вирус зачаточного, но уже входящего в моду «хождения в народ», молодой дворянин получил несколько лет ссылки в Троицко-Заозёрную слободу Туруханской епархии. Старинная слобода стояла в дремучей тайге и славилась с допотопных времён слюдой, которую добывали для храмов Москвы и Тобольска. Незадолго до его прибытия в эти места здесь открыли ещё и железные рудники. И первые каторжане ручейком потекли в богатый нетронутый край.

Ссылка стала судьбой. Император, отославший беспечного народовольца подальше от столицы — отрезвиться и попутно окупиться в жизнь того самого народа, который юноша жаждал просветить, — тем самым спас его и наш род от клейма цареубийцы и террориста. Но главное — не прервётся наш род. Цареубийц казнили повешением, как и случится с братом Ильича, постыдно и без присутствия того народа, которому они, как казалось, хотели служить. Каково будет их служение, мы узнаем позднее, когда Ильич двинет «другим путём». А его клич подхватят те самые народники, похерив свои идеалы, пустившись в недетские игры типа «охоты на царя» и, в конце царских времён, опустившись до гнилого беспредела «грабь награбленное» и прочих материальных, но абсолютно бездуховных ценностей.

В советское время ходил анекдот про Ленина: брата казнили, а как отомстил...

Ссылка сделала из прадеда философа. Отбыв положенный срок, он не вернулся на родину, а навсегда остался учительствовать в сибирской слободе. Здесь он пережил великий промышленный подъём, строительство Транссибирской магистрали, революцию, некрасивую сифилитичную смерть вождя, две войны и наконец, изучив жизнь народа глубже некуда, с миром отошёл к Богу.

Заозёрная слобода, в имени которой навсегда отменили «Троицкое», получила статус села, к тому времени перенаселённого уже не только царскими, но и советскими ссыльнокаторжными гражданами.

Мама помнила прадеда седым, синеглазым и всегда с книгой. Сидя на скамье под высоким забором, он наблюдал за детворой и жизнью народа, судьба которого в молодости так беспокоила его. Прибывавших с жалобами детей он гладил по головам, жалел и подкармливал, отчего считался слегка не в себе. Факт, что выслан он был из Петербурга, где оказался в студенческие годы и нахватался идеей о спасении народа, вляпался в нехорошую историю и отделался высылкой, был достоверный. Об этом хранили записи соответствующие службы, чем и помогли мне в раскопках своих корней.

В глухом месте, оторванном от других на десятки вёрст, проповедовать свободу мысли было некому. Некоторое время молодой прадед снимал угол у безмужней женщины, прижился, и она родила, среди прочих детей, мне не известных, Леонтия. Который и стал отцом моей бабушки. О женщине, пустившей питерского интеллигента к себе на жительство, а заодно продлившей корни нашего рода, известно немного: не сдерживаясь в чувствах, она одинаково гоняла венником детей, курей и собак, приговаривая: «Ах, жабы вы, холеры...»

Я помню этот дом, похожий на старый терем, с высокой лестницей, на которую я отказалась подняться, и маленькую седую женщину, сидящую на самом верху. Она смотрела на меня зорким прищуренным взглядом и почему-то кивала головой. Шли взрослые разговоры о чьих-то похоронах и, поскольку все редко виделись, о том, кто как вырос и на кого стал похож. Став центром внимания, я закатила истерику, вцепилась в маму, и мы вернулись домой. Кто была эта женщина на крыльце? Кого мы так и не проводили в последний путь? Нет уже никого, кто мог бы ответить.

К вечеру пришлось вызвать скорую. Мама просила вести обезболивающее. Ничего этого в доме не оказалось. Я растерялась.

— А как она без лекарств всё это время?

Я оглянулась во двор, на Деда, на Люсю, младшую мамину сестру. Так случалось, что та всегда летела на беду. И не только несла её уже своим появлением в чей бы то ни было жизни, но и непременно творила её, часто неожиданным и изощрённым способом. Люсю побаивались и родова, и знакомые, и друзья, которых она заводила всегда походя и с определённой целью. Не умея прощать ни самой случайной обиды, ни краем уха словенной сплетни, она со страстью странницы таскала слухи со двора во двор, при этом не гнушалась написать письмо или позвонить.

— Пусть знают, как Люсю обижать!— строго говорила она.— Должна же быть в мире справедливость!

В паутине её домыслов и правды часто запутывались даже самые здравомыслящие люди. Со временем, деформировавшим надменную, брезгливую, ухоженную даму в нездоровую, прилипчивую и постанывающую женщину, Люся не умерила свой пыл, но свела границы интриг до узкого круга. Делясь бесконечными несчастьями, своими и чужими, она находила собеседниц на лавочках, словно приросших к ним навечно, с карканьем подрывающихся при виде детей с мячом или бесстыдно распахнутых прелестей юности. Не успев прожить полвека, она уже была отвергнута всеми. Сын от неё отрёкся, невестка с внучкой скрылись, поменяв адрес, муж избавился, выведя такой хитроумный узор развода, что в Люсе до конца жила гордость за изобретательность его ума.

— Я всегда говорила, что Валера неглупый человек! Глупый просто не мог бы со мной жить. Но я обиделась...

И это был заочно вынесенный мужу приговор. С этого дня собственное существование её больше не интересовало. Она припала к язвам чужих страданий. Как-то позвонила родственнику в годовщину смерти его жены и попросила позвать покойную к телефону...

С детства Люся металась: стать не то богатой, не то образованной.

— Чтобы все облезли от зависти,— объясняла она мне.

Её мечта сбылась. Она стала хозяйкой собственного завода и нажила много завистников. Название завода «Лидер» оказалось аббревиатурой и означало: «Люся и другие её работники».

По мелочам Люсю развлекали скандалы, в которых она возвращала свои подарки. Подносились они в порыве искренней, невиданной щедрости, действительно от всей души, часто дорогие, но приходило время обиды— и всё требовалось вернуть назад. Люся входила в квартиры, где покоились её дары, с дикой свободой судебного исполнителя срывала шторы, сдирала драгоценности, ломала картины, била сервизы и истеричила, если вещи оказывались передаренными или утраченными. Частотой повторения спектакли утомляли даже соседей. Анонсы и прогнозы были бессмысленны. Свою непредсказуемость в этом плане Люся долгое время считала изюминкой своей женской души. Пока муж не ушёл от неё безвозвратно. Иллюзии насчёт изюминки растаяли, хватки с годами поубавилось, подарки с наступившей бедностью иссякли. Но Люся осталась собой. Я помнила об этом. И поэтому, когда она позвонила от мамы, а мама не могла говорить, одним своим голосом она вырвала меня из всего сразу— из всех невозможностей, со всем нутром, как это она умела, окатив душу ощущением опасности. Люся была рядом с мамой. Нужно было спешить.

В знакомой деревенской церкви мы с Сашей заказали подорожную и через сутки уже показывались в поезде самого дальнего следования.

Во всей Люсиной судьбе был некий изъян. Все знали, что рождение её явилось результатом неудавшегося выкидыша. Бабушка Галина пыталась избавиться от пятого ребёнка, тем более что старшая дочь, моя мама, должна была родить в то же время. Девочка оказалась цепкой и уже на пятый день своей жизни стала тёткой вместе с рождением Славки. Этот статус тётки навеки определил и её манеру говорить приговаривая, и жалобные нотки, и приступы щедрости, и некончаемые болезни, и воспалённую страсть к золоту, и вмешательство во все семейные дела с охватом дальнего родства, и— сплетни. Она была просто жанровой литературной героиней. Тётушка Саркома— в первый же день окрестила её Саша. Со временем история Люсиного рождения обросла мелкими подробностями. В ней появился шрамик на её подбородке, вроде как оттуда, ещё из матки, нечаянное клеймо материнского предательства, насилия над беззащитным плодом уже побледневшей родительской любви.

Не в той ли мыльной пене, замешанной материнской рукой и влитой в утробу, и запутался мелкий бес да прикипел к зарождённой душе? Не он ли, подрастая вместе с ней, вспенивал ей мозги, доводя до бешенства при самой незначительной случайности, подсказывал Люсе сюжеты интриг, сводил людей и горячил кровь мстью?

— У мамы нет лекарства? — я уставилась на брата.
— А я знаю? Они вдвоём тут химичат, Люся да Дед. Я-то чо?

Я обернулась к Деду. Он устало отмахнулся:

— Она не хотела.

Я возмутилась:

— А при чём здесь «она не хотела»?

Люся нехорошо дёрнула плечо и не персонально заявила:

— Не надо тут устраивать допросы.

Дед молча свернул своё одеяло, на котором спал под порогом маминной комнаты, пока не приехала я, перенёс его на балкон и перестал со всеми разговаривать.

— Вон пошла! — я держала руку, будто сейчас собиралась прострелить дверь.

— А ты изменилась, Любаша.

— Было бы странно, если бы за двадцать лет этого не произошло.

Люся начала собирать вещи и по-старушечьи заблажила:

— Я тут ночами не сплю, ухаживаю, умываю...

Всю жизнь она играла две роли — то жертвы, то спасателя. Ни один сценарий мне сейчас не годился.
— Не причитай, — прервала я, — теперь этот подвиг я возьму на себя.

— Я завтра зайду? — робко прошептала она.

— Нет, встретимся в церкви, на отпевании.

Она кивнула, но потом не пришла. Уходила с узлами. Снова нашлись скатерти и картины, которые она когда-то дарила маме.

Дверь на балкон была открыта. Дед лежал, глядя в небо, и слушал наш разговор с Люсей.

— Выгнала? — спросил он и глубоко выдохнул.

Он был всегда насквозь родной. Роднее отца, роднее любого во всей родне, быстрее всех в работе, скорее любого в любом деле. Он жил, рвя душу, как последнюю рубашку, не споря, а горланя, и в детстве я боялась, что сейчас у него лопнет кожа от пуза до горла и сердце его вырвется и взлетит.

Он завоевал маму, получив её вместе со всем «приданым», ни разу в жизни не пожалев об этом. Работал до спазмов в желудке, любил до отпада сердечных клапанов, пил до икоты.

Он каждый год отыскивал для мамы подснежники и никогда не шёл — он всегда нёсся к ней с букетом цветов. Мама любила жаркий, и пока был сезон, в нашем доме, не угасая, полыхало пламя его любви. Потом шли мелкие незабудки, тонконогие,

ситцевые. Осенью приходило время последних листьев, и они стояли всю зиму, до первых подснежников, как упитый дурманом, приворожённый уже следом её босоножки, её смехом, даже её равнодушием и отказом, Дед добивался мамы, сидя в детской беседке под нашим окном. Над ними смеялись: «Как пионеры прям...» Красавец, молодец, в модном болоньевом плаще, моложе мамы на восемь лет — как могла с ним случиться такая оказия и продлиться всю его жизнь?

Он столкнулся с нами на остановке. Должен был ехать на смену, но из автобуса вышли мы, и я осталась — на мне были новые красивые носки, и я не могла ими налюбоваться. Он не уехал, а пошёл следом за нами. Я только что научилась читать, поэтому громко выкрикивала всё, что попадалось буквенного на глаза.

— Мама, — резюмировала я, — тут кругом про нашего Славку написано: слава, слава, слава...

Он вошёл за нами в подвезд и узнал, где мы живём. О том, что мама в разводе, он выяснил позже. А пока шёл, всё уже для себя решил. Маленькая насмешливая женщина с девочкой за руку были его, не чьи-то. Ни мужья, ни какие-нибудь обстоятельства — ничто, прилагаемое в нагрузку, не имело значения. Он явился на другой день и принёс мне конфеты — десять сортов по сто граммов. Двери держали открытыми, никто никого не боялся. Я спокойно впустила его в квартиру и устроилась на диван сортировать карамель. Он сидел в кресле и ждал маму. Возмущению её не было конца. Потом он пришёл с арбузом, и уже спокойнее они разговаривали на кухне. Потом мы шли на карусели, он держал меня за руку, а мама шла позади и делала вид, что она не с нами. Они встречались.

Ранняя смерть бабушки, когда больные с войны почки наконец добились её уставшее тело, открыла для Деда двери в нашу семью. Мама честно показала ему шесть пар спящих ног, которые могли стать бременем в его новой жизни.

— Справимся, — ответил он.

И он справился. Вырастил нас и маминных сестёр, выдал их замуж, одарив соболями в прямом смысле слова и отыграв их свадьбы. Своей у него не случилось. Как и детей. На этой теме в самом начале мама честно поставила крест. Она всё и всегда решала сама. Иногда обдумывала до конца, иногда полагалась на волю случая. Тема общих детей ни разу не поднималась. Его сердце навеки было отдано женщинам нашей семьи. По цепочке: мама, я, Сашенька...

Он родился в конце войны в небольшом сибирском спецпоселении, куда их кулацкую семью в тридцатые вывезли из Украины. Зажиточные куркули легко вписались в графу второй категории — «богатых кулаков и подкулачников». Лишённые

всего имущества, включая мётлы, чайники и бочки с мочёными помидорами, они двинули на высылку в холодные края. По мартовскому ледку их подвезли к краю леса, ссыпали в ложбинку между сопками вкупе с несколькими односельчанами и забыли.

Собственно, эти изгнанники и основали деревню. Работящие хохлы поставили тёплые избы, обнесли их сосновым забором и зажили внутрисемейными дворами. Уляна Серафимовна, матушка Деда, была толковой в хозяйстве и в торговле. В её жилах текла кровь поколений миргородских купцов. В день зачистки, услышав дикий вой в начале улицы, она успела снять с себя серьги и кольца белого золота и сунуть в рабочие галоши. В них и отправилась в путь. Остальное из приданого, перины и подушки, продотрядовцы стащили на подводь, и пух летал над разорённым родовым гнездом. Драгоценности их выручили. Матушка оказалась несигибаемой. Десяти лет Дед вышел работать в кузницу. Достаток в семье был общий. Двором, хозяйством, семьями подраставших сыновей, с невестками и детьми, управляла мать. Никогда не слышавшая о таком устройстве общества, как матриархат, она стала твёрдой его устроительницей и крепко держала в маленьких кулачках весь клан. Через короткое время семейство окрепло и снова разбогатело, но раскулачивать его повторно никто не пришёл. Рахубная Уляна Серафимовна, крепко наученная властью, теперь умела тщательно скрывать семейный наработанный достаток. Так и дожили, вполне безбедно, но трудясь с утра до ночи, до шестидесятых. И тут, по сибирским понятиям — недалеко, занялась стройка: ГРЭС, город и химкомбинат.

А место, заселённое когда-то силой, теперь добровольно обихаживают поклонники здорового образа жизни. Природа сберегла для них своё первозданное лоно. По-прежнему зеленеет лес, полный дичи, и гремят ручьи, не замерзающие даже зимой.

Молодые люди селятся снова гуртами, с новой философией на старой закваске, и поднимают огороды вручную, как в старину.

Я видела её, невысокую старуху с красивым властным лицом, огненными глазами и мягким южным говором, только один раз. Дед взял меня с собой и, видимо, пришёл сказать, что уходит из-под её надежного крыла в нашу семью. Мы стояли в пороге её новой квартиры на городской набережной, только-только отстроеной, с круглыми фонарями и изогнутыми скамейками, по которой вечерами взрослые совершали променад, а дети бегали купаться на реку. Но потом я обходила этот дом десятой дорогой.

— Прокляну! — пригрозила она так, что я спряталась за Деда. — Прокляну, Ванька! Нашёл себе хомут на шею. . . Шесть детей. . . Если уйдёшь к ней, забудь ко мне дорогу. . .

— Проклинай! Уже забыл! — Дед махнул рукой, подхватил меня на руки и, пропуская ступеньки, слетел со второго этажа.

Мы завернули в тир, и он стал учить меня стрелять. Потом мы шли по аллее с недавно высаженными деревцами, ели мороженое, а из динамиков гремела музыка. Дед был весёлый, как сбежавший с уроков школьник, а я гордилась им, что этой женщины он не боится. Больше они не виделись. В августе того же лета он увёз нас из города навсегда. Впереди были Крайний Север, ВАМ, КАТЭК. . . Дед был спецом высокого класса, с личным клеймом сварщика. Его знали в лицо не только все местные начальники, но и министры советской промышленности. В любом месте, где бы он ни появлялся, становился всегда знаменитостью. Он мог приварить и гранёный стакан к металлической ручке рабочего шкафчика, и стрелу гигантского крана. Его справками на изобретения можно было оклеить, как обоями, любую контору в три этажа. Чем он неоднократно угрожал, когда что-то требовалось добыть через профком. Договариваться он не умел. Чины игнорировал. И когда как-то на трассе заподозрили брак, Дед поспорил с министром на ящик коньяка, что брака не установят. Орал так, что трепетала гревовская труба, чей дым долетал до Швейцарии. Министр вчистую проиграл и честно выставился. Гуляли три дня. . .

Всё счастливое пришло ко мне через него. Станным образом мама всегда оставалась в тени, позволяя ему меня баловать. Она знала: его никто не смог бы сдержать в любви. . .

Я ходила в музыкальную школу и мечтала о своём пианино. Он добыл его в единственном на нашем участке бама магазине, взяв кредит, и, посмеиваясь, выслушивал мамини доводы: — Она бросит свою музыкалку через полгода, а ты будешь ещё выплывать!

Я не бросила. Но каждый праздник, когда у нас собирались гости, мне приходилось откладывать книжку и идти к пианино. Нестройно, но весело народ пел песни под мой нестройный весёлый аккомпанемент. Подвыпивший Дед подначивал: — Любашка, ты на педаль жми, на педаль! . .

Мама гордилась мной втайне, всегда ожидая большего. А Дед нескрыто хвастался. Он всегда мной хвастался — моей длинной косой, моими пятёрками, и я во всём была для него лучшая. Во всех правдах-неправдах он брал мою сторону, не разбирая деталей, не вникая в подробности. Все были неправы, и только я — права. А если и неправы, то всё равно все дураки, одна я умная. Он был моя крепость, тыл и броня. И когда мне взбрело в голову бросить университет, а мама встала в пороге:

— Бери чемодан — и обратно! — он поднялся:

— Я поеду с ней! И всем им бошки поотрываю, кто её там обидел...

Угроза была нешуточной. Слетать в Подмосковье и устроить на кафедре погром—это он мог. Легко. Пара прецедентов в школе была тому подтверждением. Я перевелась в иняз поближе к дому, и головы невинных в моём сумасбродстве людей остались целы.

Мотоцикл... Это была отдельная история. Тогда я впервые увидела, как человек может на глазах поседеть. Пока я училась ездить по грубо отсыпанной дороге, Дед бежал со мной рядом. Я визжала от счастья, а Дед смеялся от радости. Дорог на великой стройке, по сути, не было. Бывало и так: сегодня они отсыпаны в одну сторону, а завтра—в другую. Так я вылетела на мотоцикле с насыпи на огромные брёвна, сваленные на берегу Лены. Вовремя отпустив руль, мы разлетелись с транспортом в разные стороны. От горла до ступней я содрала кожу. Рубашка мгновенно прилипла к телу. Я крадучись вернулась во двор, где уже собирались любители волейбола. Дед устраивался на сарае, со свистком, чтобы судить. Я юркнула в его мастерскую... Он спустился с крыши, встал против меня и обомлел. Наутро я увидела гриву седых волос в его легкомысленных кудрях.

Мама то запрещала мне водить мотоцикл, то просила сгонять в магазин, где хорошо отоваривали бамовцев. Но жажда порулить осталась во мне навсегда. Как и советы Деда:

— Обочину не хватай, осевую между колёс—и пошла...

У каждого на Земле есть своя Джомолунгма. Для Деда это были мы. Однажды взяв свою высоту, он уже никогда не стремился покорять другие вершины.

Бабушка умерла, и мама взяла опеку над двумя сёстрами. Мама, разведёнка с двумя детьми, чтобы сестёр не забрали в детдом, пошла на страшную, как я понимаю сейчас, жертву—нас с братом она сдала в интернат. Братья её к тому моменту подросли и разъехались, а сёстры остались дома. Они учились в обычной школе и приходили к обеду домой, они «дружили» и ходили на танцплощадки, они засиживались допоздна на кухне, пили чай, таскали куски рафинада и хлеб, лёжа читали, смотрели телевизор, их некому было ругать. У них было настоящее домашнее счастье. Так думалось мне. Тогда я ещё не умела ни толком завидовать, ни обижаться. Я скучала. Я тосковала, как щенок, пристроенный на время в хорошие руки, и подвывала в подушку, не наученная засыпать в одиночку и в дисциплинированной тишине. За слезами следовало стояние в туалете, с мертвецким холодом кафельной плитки, и я непременно засыпала, падала и больше ушибов боялась тычковых воспитательницы: «Только попробуй, только

скажи...» В память об этом на моей голове остались два маленьких белых шрама.

Интернат был освоённой образцово-показательной системой. Для меня, свободной от детского сада, он оказался тюрьмой. И уже присмотр, который так утешал маму, работавшую в разные смены, стал надзором, а все мы, бесплатно одетые и обутые государством, обеспеченные им по госстандарту от карандаша до заплечного ранца, до зубной щётки, до полотенца с запахом прачечной, начиная с одинаковых панталон и заканчивая зимними шапками, не имели права на своё.

Мы были маленькие монахи, вынужденные отречься от всякого личного имущества, только с нами совершалось не духовное подвижничество, а душевный разлад. Монастырским уставом служил распорядок дня, и следовали мы ему послушнически неукоснительно. Неведомые себе монашески, бывало, мы стояли положенное на коленях, бывало, оставались без ужина или без булочки, и булочка снилась потом, румяная, с корочкой и помадкой, облупившейся по краям. Каждый нёс своё внутреннее послушание, только не ведал об этом. Нам нельзя было знать что-то отдельное каждому. Мы хором возвышались борьбой за чистые руки и безвышью головы. Мы хором болели чесоткой, страдали поносом и лечили сколиоз. В нас жило спянное в соты коллективное сознание на базе коллективного метода воспитания. За метаморфозами сознательного в нас следили настоятели с указкой. Указка порой была похожа на хлыст.

Но всё это стало реально осознанным много позднее.

Дед вытащил меня оттуда. Он вывел меня из-за интернатского забора, и я навсегда запомнила силу его руки. А стала ребёнком, которому отныне и навсегда было подарено настоящее детство, когда сбывались даже самые потаённые мечты. Даже когда я про мечту забывала, Дед помнил. Каждую. Любую. Все.

Он начал попивать, когда я уехала учиться—далеко от дома. Потом я выучилась, вернулась, и он воспрянул. Драл горло, выбивая талон на стиральную машинку, когда появился внук, и надувал жилы, грозя разнести профком, когда родилась внучка. Талоны, конечно, дали. Мои дети стали для Деда продолжением меня, а значит, самым главным в жизни.

И вот он лежал на балконе, заложив руки за голову, и смотрел на меня как чужой:

— Чего ты тут выясняешь? Чего ты узнать хочешь? — Маме выписали трамадол пятого числа, сегодня двадцатое. Две недели ей никто не давал обезболивающего. Почему?

— Не знаю я ничего. Люсю вон, сестричку мамину, змею вашу, спрашивай. У неё все лекарства.

— Ты запомнил мамины стоны? Все запомнил? — сказала я. — Теперь ты будешь с этим жить! До конца своих дней, до последнего издоха, до рвоты, до смерти своей ты будешь с этим жить! Понял?..

В голове шёл снег. Один знакомый художник как-то сказал живописную фразу: «У тебя в голове снег идёт...» И вот снег шёл, шёл, засыпая дорожки в прошлое, заваливая сугробами пути назад, к тому, что было когда-то счастьем. Мама уходила, забирая счастье прошлого с собой.

На балкон вошла Саша:

— Иди за лекарствами, Дед. Там наркотики только близким родственникам по паспорту выдают. Самый близкий — ты...

Он поднялся, обнял её. Длинные седые волосы свисали ниже плеч. Он не стриг их, потому что кто-то сказал ему, что если не стричься, то больной выздоровеет.

— Не реви, я тебя в обиду не дам, — шепнула Саша. — Ты мне рёбра сейчас сломаешь...

— Не сломаю, Пшено...

Детская кличка, прозвучавшая неожиданно, сняла дикое напряжение, искрившее разрядами уже целые сутки. Дед, не переобувшись, как был в тапочках, полетел с поручением Саши. Он снова готов был свернуть горы.

— Слышь, Любаш, — брат с тоской смотрел на синий водоём за городом, — а рыба-то сейчас клюёт-ё-ёт...

— Так купи удочку да иди, — предложила я.

— Да дорогие они здесь, ёпта...

— Ну... не дороже жизни.

Славка собрался в пять минут. Саша читала в маминой комнате, сейчас было время её дежурства. Мама летала в заоблачных высях, и Саша держала карандаш под рукой. До сих пор я не готова выдать всё то, что мама рассказывала нам сразу по возвращении, — о параллельных мирах и всей запредельной метафизике. Каждый раз она огорчалась, что всё ещё тут. Шутила:

— Что у них там, в приёмной нельзя подождать?

Под занавес жизни ей дана была Божья милость не бояться смерти, а принять её «непостыдную» — в окружении близких, причастившись, в горячей готовности к пути. У мамы вышло с юмором и немножко нетерпеливо.

Я включила стиральную машину, и её тихий мерный звук в полной тишине квартиры оказался исполненным домашнего уюта. Он нравился мне до сих пор. Вещи иногда способны вносить больше покоя и разумности, чем близкие люди.

Она всё время лежала лицом к окну, за которым всегда, даже ночью, небо оставалось по-северному светлым. Ей были видны верхушки сопки и как из-за них поднималось солнце, заливало неярким оранжевым светом и превращало их вечную зелень в густую синь.

Кто-то принёс мандарины и высыпал их на подоконник.

— Голос дальних странствий, — улыбнулась мама, заметив подарок. Мы обе подумали об одном. — Но я-то своё уже откатала.

— Не факт, бабулечка, — заспорила Саша, — как минимум ещё один полёт у тебя впереди. Приснишься потом? Расскажешь?..

Романтики в нас было хоть отбавляй. Но мама была практичным романтиком. Мы всегда приезжали на готовое место. Мы не скитались по углам, никто не мучился в поисках работы.

И вот когда мы однажды летели на маленьком самолёте в глубоко крайнесеверный район на Нижней Тунгуске, мама ещё в небе сразу узнала наш дом.

— Смотрите, вот тот, с новой крышей, точно наш.

Конечно, для кого ещё, кроме нас, перекрывать крышу? Но дом с новой крышей оказался действительно наш. Он стоял во втором ряду от реки, и даже с берега было видно, какой он свеженький, как гриб с толстой шляпкой после дождя.

По реке ходили баржи. Первую весеннюю встречали как большой сельский праздник, а последнюю осеннюю провожали так, будто мы оставались здесь на зимовку без всякой связи с миром. Но связь, конечно, была. Все дружили с радистами. Все дружили с лётчиками. Все дружили с тунгусами, потому что самый надёжный зимний транспорт оставался всегда гужевой — оленей. Вездеход не ценили так, как оленей, потому что машина в пургу не могла сама найти дорогу. Все вообще дружили со всеми.

Наш дом стоял в центре села, непосредственно на том перекрестье дорог, с которого начинается любое обживаемое место. С главной площади: церковь, управа, рынок и постоялый двор. К нашему времени всё несколько изменилось, но здания сохранились. По углам располагались пекарня, почта, причал и наш дом. Мы первыми узнавали, когда сел почтовый самолёт, когда и с каким грузом придёт баржа и когда будет готов этот незабываемый, с одуряющим ароматом, горячий хлеб! Буханки были огромные, пышущие таким жаром, что мы не могли нести их в руках. И мама сшила для хлеба специальную хлебную сумку. Она всегда пахла хлебом, сколько бы её ни стирали. И хранила этот запах долго, даже спустя годы, когда мы вернулись на Большую землю.

И вот однажды баржа привезла мандарины. Они были ссыпаны навалом в ящики и весело выглядывали в щели между деревянными плашками. Невиданный для Севера цвет. Неслыханный аромат!

С баржи всё покупали ящиками, мешками, коробками. В сенях нашего домика всю зиму мёрзли большие фанерные короба с морошкой, клюквой,

пельменями и пряниками. Составленные друг на друга мешки с мукой пугали меня в темноте. В углу стоял укутанный старой фуфайкой, но сильнее всех пахнувший большой бидон с керосином. В середине семидесятых мы жили при керосиновых лампах! Свет давали только по средам на два часа. Именно это неудобство заставило маму вернуться в цивилизацию. А я до сих пор люблю отдельной памятью и свет, и запах керосиновых ламп. Каким теплом они светились в зимних мёрзлых окнах человеческого жилья. Их свет спасал жизни. На них выходили из пурги, из тайги, по ним ориентировались дикие по смелости подвыпившие лётчики-асы.

И вот мандарины. Наше жильё мгновенно пропахло праздником. На подоконниках сушилась кожа. С ней заваривали чай, толкли в ступке для выпечки, её добавляли даже в растворимый кофе. Гурманы с материка с особым мандариновым изыском готовили оленину и медвежатину. Славка и Дед плевались. А я, воображая, что могу разгадать тайну знака, если долго и вдумчиво на него смотреть, не могла отвести взгляд от китайских рисунков. Иероглифы. Почему не буквы? Ведь это проще.

— А так короче, — смеялся брат, — это же целое слово.

Слово. Клинопись. Шумеры. Люди писали рисунками. Люди рисовали слова. Это занимательнее и любопытнее, чем составлять из букв слова. Именно мандарины в китайских ящиках запали надолго в мою душу. Я решила стать переводчиком и выучить язык иероглифов.

Я родилась в седьмой лунный день, то есть сразу и однозначно филологом. Тайна слова буквально преследовала меня, даже если я хотела от этой игры отдохнуть. Но я всегда любила слова, мне нравились языки, я обожала слушать нерусскую речь и русскую, произносимую с акцентом. В нашем классе, когда мы вернулись в цивилизацию на очередную союзную стройку, были представители всех республик и автономных областей. Разноязыким, многоакцентным и никогда враждебным было наше общение.

— А как это будет по-грузински, по-белорусски, по-молдавски, по-украински, по-казахски, по-туркменски, по-литовски?..

Неродные слова казались смешными, забавными, но иногда наоборот — восточное слово звучало так гордо, так возвышенно, что в русском переводе бледнело.

Китайский язык стал мечтой. Это не было семейной тайной, и мама мне всячески помогала. Она изучала со мной немецкий язык по учебнику дома, потому что в школе не было учителя. Я торчала в сельской библиотеке под керосиновой лампой до самого закрытия, и мама отправляла брата встречать меня.

— А знаешь, — делилась я, — «слово» по-китайски значит «сын мысли».

История с китайским закончилась ничем. Окончив иняз, я было направила свои стопы в Иркутский институт имени Хо Ши Мина, но сначала должна была отработать три года по специальности. Таким был закон. Но через три года я была уже мамой, и китайский только изредка напоминал о себе. Самым удивительным образом. Пять месяцев я прожила по соседству с настоящим китайцем. Его звали Пи Шин. Потом появилась книга «Рисованные слова». Я даже переводила её, а мой муж рисовал иероглифы. Но всё это было в каком-то странном завуалированном виде. Китаец жил в России, и все называли его Володя. А книгу написал итальянец, но читала я её на немецком. Никогда больше китайский иероглиф не появился в моей жизни в том первоначальном виде детской мечты, как на ящиках с мандаринами.

Потом мандариновые сады на Кипре. Древний, как уста планеты, язык киприотов. Разноязычность туристов, многоакцентность английского. С балкона я смотрела на утреннее море. Ночью в открытую дверь я слышала его шум в темноте. И звук больших самолётов, прилетающих с материка. Сложился наконец какой-то очередной пазл в картине моей жизни.

Я закрываю клеточки в детском лото, в которое мы играем с внучкой.

— Мандарины?

— У меня!

— Самолёты?

— У меня!

— Край земли?

— У меня!

— Иероглиф?

— У меня, — отвечает кто-то.

Скорее всего, это именно та девочка, которая сидит у фанерного ящика, а в щели выглядывают мандарины, навсегда подписанные тайным знаком так и не разгаданного рисунка.

Дом, в котором девочка смотрела на дивные китайские письма, недавно снесло большим поводом, вместе с пекарней, почтой и причалом. Всё когда-то кончается. Исчезают дома. Исчерпываются отношения. Навсегда уходят родные и близкие...

— Может, ты чего-нибудь хочешь? — спрашиваю я. — Мандарин?

— Есть не буду, не хочу, чтобы из-под меня убирали. Какой смысл? Еда нужна, чтобы жить. А чем это пахнет?

— Кофе. Хочешь кофе?

Она неожиданно соглашается. Расстраивается, что заляпали красивую наволочку.

— Мама! Какая наволочка! О чём ты думаешь!

— О вас...

Она никогда не была практичной в том смысле, который обеспечивает нажитость добра и обеспечение в будущем, но эта жилка в ней всё-таки была. Она понимала, что придут дни, когда начнут под-езжать родственники, им придётся здесь жить, толкаться в ожидании похорон, и собирала деньги заранее. Теперь все мы питались за её счёт. Может, от этого еда была такой невкусной. Дед об этом не знал. Но сейчас, когда невестка бойко и толково распорядилась на кухне, Деда раздражала то ли её хозяйская подвижность, то ли вообще прибытие неблизкого родства. Дед не успел полюбить ни Зойку, ни её родню. Полюбить так безоглядно, как это случилось с нами. И теперь, когда навсегда ушла мама, он смотрел на них как на вовсе чужих людей. — Ешь давай, не зыркай, — прикрикнула Зойка небрежно, по-семейному.

Как здесь любили говорить — «по-простому». Но это была простота того разлива, что хуже воровства. Лучше бы она сматерилась.

— А повежливей? — грубо срезала её Саша.

Зойка не поняла, о чём речь. «Не стой давай, иди давай, бегом давай...» Погонялки раздавались беззлобно, иногда безадресно, скорее по привычке, с придуманной строгостью. Покрикивание считалось в этой среде нормой и было чем-то вроде атмосферы, вне которой люди этой семьи терялись. Вежливый разговор их настораживал, «спасибы» и «извините» напрягали: мол, мы ж не чужие, мы ж родня, чего извиняться...

Теперь, когда маму унесли санитары, моя миссия как бы кончилась, и Зойка взяла хлопоты на себя. Из морозильника доставали и сортировали на обеденном столе смёрзшиеся куски мяса...

— Слышь, Любаха, — позвал Славка, — я там это, в морге матери с шампунем заказал...

— Маме? Какой шампунь?

— Ну там, типа, с шампунем мыть дорожке... Так мы это, с шампунем заплатали. Чо без шампуня-то? Чо мы, не люди, что ли?..

— Ну и правильно, — говорю, — что с шампунем.

И наконец тихо текут слёзы. Солёные, утешные, липнут к щекам. Лекарство должно быть горьким. Слёзы — солёными. Морг — морозильником. Брат — спокойным. Смерть — достойной. У мамы — даже чуточку лихой.

— Не реви, — говорит брат, — оно ж, знаешь, рано или поздно...

Дед с отвращением взглянул на продукты и скрылся на лоджии. Короткий топчанчик, пристроенный к стене, оккупировали все курильщики, но только Дед мог сидеть там на солнце. А светило уже поднялось. Дед выдувал дым, сплёвывая табак, покашливая, будто виноватый, даже самый виноватый в этом дне. Говорить было нечего. Я позвала Сашу, и мы пошли купить ритуальные шифоновые шарфы. В эту минуту мне показалось это самым важным — найти чёрные ленты на головы.

Обрядовая страсть во мне тянулась ниточкой от маминых пристратий ко всему псевдодеревенскому, ярмарочному, рушничковому. Она могла штопать простыни из экономии, но не умела пройти мимо какого-нибудь полотенчика или разделочной доски в «народном стиле». Сколько в незамысловатой кустарщине было стилия или народности — дело второе. Оно было притягательно-радостным, расцветивая кухню, а в целом — жизнь, во все цвета радуги. Я перебирала мамини вещи и незаметно для себя отложила фартук в бабочках, полотенце в подсолнухах, салфетки в ромашках. Долго разглядывала знакомую кухню: всё прежнее, самодельная дедова мебель из останков рижского гарнитура, купленного в те дни, когда мама познакомилась с Дедом. Те же петушиные хвосты, яблочки-вишенки, кувшины в незабудках и ни одной пустой, обойдённой художником вещи. На полке таяла небесно-голубая гжель, в стакане торчала пара ложек сочной хохломы.

Я осторожно достала из шкафа старую фарфоровую тарелку. Она была немислимого солнечного цвета. По краю росли виноградники с белыми гроздьями и узорчатыми листьями, а ветки, декоративно скрученные в бараны рога, вились золотой оторочкой. Эту тарелку, вещь необычной, теперь уже старинной, не конвейерной красоты, в бедные маргариновые времена в наш дом внесла бабушка, не ведая, как навсегда приворожит меня к ней. Что-то таили её узоры и уводили меня в свои лабиринты. Я видела, как ветки образовывали сердце, влетаясь сердечным клапаном в стволы, как выпукло лежали листья, некоторые свежо, другие — обвиснув от жары, как всё в рисунке сливалось в оранжево-золотое. Я часами разглядывала блюдо и мечтала... «Вот когда вырастешь, забережь тарелку себе», — сказала мне мама и запретила трогать.

— А потом она перейдёт ко мне? — уточняет моя Саша, упаковывая тарелку в свитер. — Она ведь по женской линии передаётся?

— По женской линии у нас другое передаётся, — напоминаю я, что в нашем роду шесть поколений являет на свет девочек по чёткой схеме: Скорпион — Рыбы — Скорпион...

— Попрошу без грубых намёков, — улыбается она.

Потом, как бы договорившись с собой, моя молодая «скорпиочинка» согревает меня надеждой: — Давай через годик, может, домик купим, да я рожу? Зачем нарушать традиции, если они так прекрасны?

Тарелка и сейчас оказалась довольно тяжёлой. Теперь таких не делают. Теперь всё облегчённое.

Дулёвская красота, хоть и была второго сорта, как сообщал фабричный штамп, выглядела как самая неповторимая штука, которая мне встречалась.

— Тысяча девятьсот пятьдесят седьмой год, — замечает Саша. — Тут номер какой-то, не то шестьдесят восемь, не то восемьдесят девять.

— А у нас всё так — смотря как повернуть.

— Зато всегда есть выбор, — смеётся Саша.

Чудесная дулёвская глазурь с позолотой не потёрлась, не смылась за полвека. Мы размышляем, почему тарелку во второсортные отправили, и решаем, что, наверное, за пару сориннок, попавших под глазурь.

Да, не ведал Терентий Кузнецов, заводя тонкое дело среди болот и лесов Кудыкинской волости, сколько детских фантазий и дивных снов родит его фарфор в сибирской девочке, за тысячи вёрст и спустя больше века. Но моя тарелочка выскочила в убогое время. Когда губили драгоценные традиции пятилетками и ударным трудом. В пятидесятые люди, ещё помнившие кузнецовское дело, плача, шли на преступление перед искусством — сминая великий ход фарфорового рождения до живо рождённого выкидыша — в угоду надуманным срокам, мученическому ударничеству и ходящим по рукам плюшевым знамёнам. Тогда вообще шли потоком только второй и третий сорт. Так что дело не в сориночках, знакомых мне с детства. А вот так вот обиняком, опосредованно, товарищ Хрущёв отметился и в моей жизни. И если смотреть тарелке в лицо, то мне светит селеновая дулёвская радость, а если повернуть задом — в цифрах «2с — 5г 1» проглядывает нечто преступное, кодовое, как с крестов зэка.

— Чо-то вода льётся, — ворчит Славка. — Чо льётся-то, не пойму? Кто не выключил-то? Включили и не выключили. Чо за фигня?

— Так выключите, ёпта...

Вот Саша и заговорила на «их» языке. Девочка светлая, лёгкая, солнечная, пишущая аннотации к книгам. «Их» язык как будто служил пробойником в соседнее сознание, в мир, где всегда советовали: «А ты не впитывай, ты обтекай!» И тем самым действительно упрощали себе жизнь, не мучаясь ночами вшивыми интеллигентскими поисками правды, а насыщаясь вечерними ругательствами всего подряд: правительства, медицины, педагогики и дорожной милиции. Все эти сферы государства в той форме, в которой они вваливались в жизнь этих незорких и доверчивых людей, действительно заслуживали хулы и порицания. Но что в них было толку, кроме самих разговоров, выкриканных горлом, покрытых смачным матом и изжёванных до рвоты?

Саша перестала впитывать. Её чуткая психика, настроенная с рождения на волну улыбки, почти в первый день обрела панцирь, а купированный скорпионий хвост сделал стойку: членистоногие бдят! — Саша, — звонил её друг, — почему ты такая бесхребетная? Надо же иметь хотя бы хорду...

Сашину чуткость, не восприятие, а проникание в чужую обиду и боль, не сострадание со стороны, а сопереживание он путал с вялым непротивлением и бесхарактерностью. Как раз характер в Саше был. Он был очевидный для взрослого опытного глаза, созревшего, выношенного чувства, не выстраданного болью, а открытого наблюдением и анализом. Но для такого опыта Сашин друг был беспомощно молод. Страсть, вскипавшая в нём и мёдом, и смолой, едва различала, что в этой юной светловолосой женщине было силой, а что оставалось слабостью стрекозино детства. И что эту слабость она сама не хотела изживать из себя, предпочитая наивное ребячество недоверчивой проницательности. Я знала её желание радоваться всем и всему и радовать других. Иногда мы захлёбывались в её щедром смехе, а она искренне подозревала себя в корысти. Ведь, яростно расточая себя на радость другим, она ожидала такой же отдачи от всего остального мира. По большей части окружение отвечало ей тем же, но близкий человек, с которым она жила вместе больше года, утомлялся избыточностью её ликующего потока. — Нельзя жить всю жизнь с новогодней ёлкой, — звал он ко мне.

В её весёлом источнике он имел невеликие потребности, и Сашин родник иногда иссыхал. Она бежала в семью.

Какое-то короткое время, в зародыше их знакомства, мы общались с ним.

— Я хочу ей только добра, — уверял он, — но надо подходить к этому избирательно...

Саша источала доброту, не задумываясь. Даже в печатках: «Я несусвет и радость людям»... Вроде бы оба хотели одного и того же, но в жизни их хотения плохо состыковывались, а стыкуясь, отталкивались. Эти оттолкновения подтачивали хрупкий солнечный мир Саши и со временем развалили его настолько, что её улыбка, не сходящая раньше с её лица, стала такой редкостью, что хотелось плакать.

— Человек родился! Человек, обречённый на счастье! — кричала она в день совершеннолетия.

Я верила, что так есть, и так будет, и по-другому быть с Сашей просто не может.

— Мир такой огромный. А я такая глупая... — скажет она через время, прожив с другом.

Это был страшный красивый мальчик, с какой-то внутренней бедой внутри. Она жила в нём, крепко осев, покрывшись коркой до невидимости снаружи, но очевидная, например, мне. Беда мучила его, но он не мог без неё обходиться. Муки и страдания вросли в его суть настолько, что он, почти не задумываясь, выбирал именно страдания и муки — и ничто другое. Саша пробовала его оставить. И тут же вся жизнь теряла для него смысл. Одна опустевшая чаша весов опрокидывала навзничь всё, что имело у него своего, схваченного,

сцепленного и вмещённого в себя. К чёрту лете-ли работа, родители, друзья переставали быть ими, мир, сравнимый до этого хотя бы с простым сортирным словом, становился просто ничем.

Когда Саша сбежала домой, он приезжал ко мне. Говорил о чувствах, и чувства были болезненные, распарывающие нутро до истечения кровью, до онемения ног, до судорог в лёгких. Боль была знакомой и сладкой. Она не только мучила, она была родной. Все кинули, все оставили, а боль — нет. Своя, выношенная, не предавшая. Отодвинуть её, вытеснить могла Саша, когда возвращалась, виноватая, маленькая, глупая и родная. И рана его, живущая не в анатомической, биохимической или молекулярной плоскости, рубцевалась в три дня близким дыханием, касанием тел, любовью клеток, виноватостью и прощением и походя всасывала в свои рубцы собственно любовь.

— Хочешь всю жизнь зализывать его раны? — как-то безжалостно спросила я. — Возвращайся к нему. Есть и такие семьи. По-своему счастливы, по-своему печальны. Но запомни: он никогда не выберет победу, он всегда выберет страдание. — Ну почему ты так говоришь? — бросалась в защиту Саша.

— Его не надо защищать, — говорила я. — Он всегда будет выбирать страдание. Такой тип мальчиков. Соглашаются на то, что ближе лежит, и подниматься не надо. Лёг, умер, и ты — герой.

Наша поездка за пять тысяч вёрст оказалась для Саши в некотором смысле полезной и своевременной.

В городке было непривычно жарко для весны. С полей несло пыль, и от неё было некуда скрыться. Населённый пункт возводили на хлебных полях и бросили среди этих полей, недостроенный. Прилетевший с южных степей «хакас» задул теперь дня на три.

Мы долго выбираем напитки. Нас спасает ширинская вода. Там, откуда «хакас» несёт пыль, посреди ровной степи стоят невысокие округлые горы. А в горной впадине лежит не охватное глазом овальное зеркало. Это озеро. В нём живая вода. Как слеза — чуть подсоленная и прозрачная. Не так давно вокруг были живы сосновые боры. К озеру тянулись долгие тенистые тропы, нога утопала в мягкой пахучей хвое. Теперь сосен нет. К озеру добираются на машинах. На просторах хозяйничают жара и «хакас». Ветер несёт с собой запах жжёной резины и бензина.

Мы сидим на горячей лавочке под магазином, ждём, пока нам оверложат чёрные шифоновые платки. Я курю. Саша следит за людьми — они все без исключения останавливают на нас взгляд, безошибочно угадывая в нас приезжих.

— Представляешь, сколько денег мог срубить рыбак, нашедший braslet Экзюпери?

— Не срубил? — Саша встряхивается. — А к чему это ты?

— Так... Немец, который его сбил, ас, сказал: «Если бы я знал, что это был Сент-Экзюпери...»

— Ну, Дантес знал, что это — Пушкин! Что изменилось?

— Ну да. И Мартынов знал, что это — Лермонтов.

— А к чему мы всё это?

— Да так. Жарко...

Глупо всё это, и мы улыбаемся. С нас понемногу, между фраз, стекает усталость бессонных ночей. Нас оставляет напряжение бычьих предупреденных сумерек. Всё легче и острее подкатывает к горлу ком, но уже не давит на душу. Ангел, забравший маму, не проворонил петуха. Стояла такая сухая тишина, что было слышно, как ветер трогает его крылья. Он вырос у маминого окна, когда я вышла на лоджию. Ростом в три этажа, совсем близко, но доступный взору целиком, в непонятной проекции, во всей небесной силе и белизне.

— Идите все сюда! — крикнула я. — Идите, смотрите, чтобы потом не говорили, что я выдумщица и «писатель».

— Ёпта! — ахнул Славка и осел. — Ничо себе...

Всемером мы столпились на лоджии и смотрели на ангела. Крылатый небожитель позволил нам подвигаться на себя минуты три. Мы охали, ахали, шептались, крестились и глядели, глядели, не отрываясь... Потом он не растаял, не исчез, не испарился, а как-то вобрался вовнутрь чего-то и — не стал.

Счастье, как и само диво, было таким безмерным, что за маму мне было скорее радостно, чем печально.

Все дни до отъезда на все лады мы будем рассказывать и пересказывать эту историю, не боясь, что нас примут за сумасшедших. Мы, свидетели чуда, слишком разные, близкие и неблизкие, верующие и неверы, малoverы и атеисты, крайне разные, чтобы собраться вместе и всё это вообразить. Ангел — был.

Нина приехала к вечеру. Маленькая, вся в чёрном, как отлитая эбеновая статуэтка, волосы строго убраны, глаза огромные, глубокие, как бывает после вчерашних слёз.

— Мама твоя, она же нам как мамка была, Люба. И Люсю грудью выкормила. Знаешь об этом?

— Главное, чтобы Люся об этом помнила, — говорю я.

У Нины озабоченный вид. Она напоминает встревоженного галчонка.

— Мама что-то сказала?

— Да, — говорю, — сказала.

— Что?

— «Жизнь такая быстрая, а смерть такая долгая...»

— Как Иван? — спрашивает Нина про Деда.

— Никак. Лежит сутки на маминой кровати.

— Ясно, — спокойно отвечает она. — Теперь ни пить, ни жить не хочется. И папа наш был такой же, дедушка твой, Шурик...

— Мой дед Шурик любил мою бабушку до самой смерти. Это всё, что я знаю, и мне достаточно, — обрываю я.

Нина пожимает плечами...

Бабушка была ладно скроенная, с гордо откинутой головой не только от личного достоинства, но ещё от длинной косы, уложенной узлом. Волос в нашей породе от бабушки — тяжёлый, густой. Однажды встретив бабушку на путях, дед Шурик и накрутил себе на руку её крепкую косу и бросил на рельсы: — Выйдешь за меня замуж?

— Не выйду!

— Выйдешь?

— Не выйду!..

Скатились по насыпи из-под самых колёс. Бабушка так и не сказала «да». И вышла за него замуж. Оба были совсем молодые, только-только по восемнадцать. Оба с характером, со страстями, неуступчивые, но спасала любовь. И пара оказалась счастливой...

Но потом началась война. Дед Шурик ушёл в сорок первом и вернулся в сорок шестом. Отрубил по полной в пехоте и, молодой, горячий, удачливый, возвратился с одной царапиной, и то не от пули. Камешек, выбитый выстрелом, проскочил по переносице и оставил на его лице «боевой» след. До конца жизни дед Шурик считал, что его сберегла фотокарточка жены. Как ладанка, намоленная его любовью, она спасла его в самых страшных боях. Однажды он её потерял. Рассказывал мне, как ползал на брюхе и плакал после боя, молился, чтобы найти. Он знал, что иначе погибнет. Нашёл. Никто бы ему не поверил — отыскать фотокарточку на комсомольский билет на вспаханной взрывами поляне... Но у события были свидетели.

Моя юная бабушка, уже мама с двумя детьми, надорвалась, но выстояла в своей тыловой войне. И когда они встретились через пять лет, прожив как десять, оказались уже совсем другими людьми. Война изменила их необратимо. И каждого завязала узлом на свой манер. А сладкие и беспечные годы, юные и потому уже только счастливые, которые помнят до самой глубокой старости, посмеиваются и щурят глаза, всматриваясь в ломкие, мутные фотографии, — всё это объяснимо и естественно отнимет у них война. И этого они не простят. Ни судьбе, ни друг другу.

До войны дед Шурик окончил техникум и всю жизнь работал инженером-путейцем. Он был на серьёзных, ответственных постах, и его пролетарская смешная фамилия навсегда вписана в историю города, где после построят «Сибволоконно». Греха пьянства за дедом Шуриком не водилось.

Но после войны пила вся страна. Всегда был повод, и он был серьёзный — за победу, вождя, за выживших и погибших. Застолье в бараке было и праздником, и утешением, и просто обычным делом, то есть чем угодно, но не пороком. Часто пили за счастливое будущее. Но оно не пришло никогда. Ни в их комнату с накрахмаленными занавесками из подсинённой марли. Ни в коммуналку с большой печью, но уже с титаном и ванной. Ни в квартиру, которую они получили через двадцать лет.

— Сколько людей полегло, а ты выжил. Без одной царапины вернулся! Образованный, заслуги у тебя посмотри какие... — попрекали деда Шурика важные люди.

Приходили из комитетов, парткомов, исполкомов.

— Есть у меня царапина от войны, — отшучивался дед Шурик и почёсывал переносицу.

Выпивки переходили порой в загулы, и бабушка его прогнала. У неё тоже была своя война.

— Гордая лошадка, — посмеивался дед Шурик над бабушкой, сидя на крыльце в нашем доме на восемь квартир.

Это был дом моего детства. Выстроенный из свежих брёвен, дом в первое же лето потёк смолой и потемнел до сказочной таинственности. Потом он стоял долгие годы таким крепким, терпким от смоляного духа монолитом, с тяжёлыми деревянными лестницами и деревянными перилами, и всё в доме было живым, из живого дерева — и стены, и окна, и широкие половицы. Летом в доме было всегда прохладно, а зимой тепло, пахло печью и пирогами. Пекли во всех квартирах каждый день не для праздника, а — прокормиться. Но этот сытный, счастливый домашний дух пирогов никогда не забыть и уже не унять. Иногда во сне он приходит ко мне по старой памяти. Я просыпаюсь, волнуясь, будто и бабушка, и мама, и дед Шурик — все живы.

За день до смерти мамы дом загорелся...

А дед Шурик, выгнанный из дома, ушёл, заблудил, загулял, жил у женщин, в путевых теплушках, терялся на месяцы. Когда возвращался, был нетрезвым, и никто не верил его словам и клятвам, все гнали, гнали, а он плакал, упав на ступеньки, и иногда оставался там ночевать. Являлись по чьему-то звонку парткомы и исполкомы, ругали и уводили его.

Однажды в такой его приход соседи сказали: — Не ходи сюда. Умерла твоя Галя. Здесь другие люди живут.

Дед Шурик сначала им не поверил.

Его искали женщины, с которыми он жил. Его разыскивала милиция, потому что он потерялся. Ему начисляли какие-то деньги по воинским заслугам, приглашали на ветеранские празднества, что-то ещё...

Несколько раз он бывал у двери нашей новой квартиры. Я подтаскивала табуретку и смотрела в глазок. Дед сидел на ступеньках и всё повторял: — Я из-под вас говно убирал, а вы. . .

Дед Шурик плакал. Плакала я. Взрослые, запретившие мне открывать дверь, казались жестокими. И я убегала на улицу через окно. Мы сидели с дедом в гулком подъезде, и он рассказывал мне о войне, о любви, о царاپине и фотокарточке. . .

В конце концов дед Шурик уехал на кладбище. Там он нашёл бабушкину могилу и остался при ней. Кладбищенский сторож поначалу его гонял, а потом бросил это бесполезное дело и перестал заявлять властям о неправильном образе жизни советского человека, героя войны и труда. Возможно, сторожу надоело, возможно, он проникся болью чужой утраты, но ночами они подолгу беседовали. Так длилось три года. Потом сторож нашёл его вдруг среди июльского лета. Стояла жара, неприличная для Сибири. Дед Шурик лежал, обняв могилу жены, крестом распластав руки и уткнув лицо в землю.

Нам пришла телеграмма, и мама мне рассказала: — Дед Шурик тебя Любой назвал.

— И что?

— Купал тебя, пяточки целовал, пелёнки стирал. А как мамка зашла, увидел её в дверях—и с ума сошёл, опять всё поехало. . . Бес какой-то в него вселялся: без неё работал, надеялся, что позовет, а увидит—как с горки съехал. . .

— Бабушку нашу любил?

— Любил, Люба, как дурак последний. И мама страдала, и он чудил. Придёт ко мне, кается, просит, чтобы я маме его покаяния передала.

— А ты?

— Я-то передавала,—улыбается мама.— Да мамка. . . Мамка гордая у нас была, знаешь, голова вскинутая, норовистая, и вправду как лошадь, и слышать о нём не хотела.

Бабушка действительно родилась в год Лошадки. Но тогда гороскопов не знали. И слово такое не обитало среди людей. А дед Шурик ведал о бабушке что-то такое, чего я в детстве не поняла. Эта тихая тайна никак не давала мне покоя. По обещанию маме я раскопала начала своих кровей. Фамилия у бабушки редкая, следы в прошлое вывели чисто и не особенно трудно. Но это было самое увлекательное путешествие в моей жизни. Ничего удивительнее я не знаю, чем пройти путь к своим истокам, увидеть древо, в кроне которого сплелись ветви польских княжичей, украинских панов, шляхтичей и обрусевших псковских дворян. Меня восхищает кружево судеб, как через ссыльного прадеда наш род не прервался, а продолжился в далёкой, красивой и сильной Сибири. Он частью вернулся к своим корням и в точке отсчёта соединился с родом дерзких и непокорных украинских казаков. Красивое вышло дерево.

Древо нашего рода, с первой датой—1425. Официальная грамота, выданная нашим пращурам польским королём,—на владение захваченными ими украинскими землями. В одной части ствол разделяется—те, кто пошёл на военную службу к российским царям и вписан в Особый реестр Ивана Грозного. На макушке древа—2014, Уля, смелая, фантастическая девочка с бездонными синими глазами и ровными, ниточками, бровями. Бабушка, заточенная на родовые метки, была бы счастлива.

Расследование привело меня к известному выводу: в судьбах вообще нет случайностей и «странных» событий, а прошлое каким-то немислимым образом, почти пророчески, уже сцеплено с будущим—заранее, за века. И никакие эпохальные вехи, правители-деспоты и цари-миротворцы не в силах нарушить этот великий космический план.

Понимаю теперь, откуда бабушкина осанка, выше меры, дозволенной окружением, и честолюбие, и непреклонность. Помню тонкую руку, красивые пальцы с синим кольцом, платье поплиновое, запах булочек, сухой окрик, негромкий, на дочек вскинутый. Меня и маму коснулась и опекала по жизни её особенная любовь.

Одна фотокарточка сохранилась из детства: бабушка в тёмном платье в горошек, смеётся. Скамейка деревянная, чёрная, как дом. Где-то там, за кадром,—я. Бабушка наблюдает за мной в песочнице. Иногда подзывает, поднимает мне подбородок, вглядывается в лицо и поправляет косы. Такие же тяжёлые, как у неё.

— Нашей породы,—довольно говорит она.—И бровки шнурочками, тоже наши.

Я обрежу тяжёлые волосы, падающие до лодыжек и закрывающие меня всю. Бабушка этого не увидит. Но её кровь, родовые отметины, которые были ей так важны при жизни, всплывут в моих детях и внучке. Иногда в их синих глазах мне остро откликается её взгляд.

Маму отпевали в праздник Вознесения. Отец Роман радостно возвестил об этом и вначале поздравил всех нас. Народу пришло много, и правый придел был переполнен. Толпа стояла тесно, от гроба до выхода, и батюшка велел раскрыть двери. В храм ворвалось летнее полуденное солнце. Причет пел вдохновенно, голоса уходили в купола, где с распростёртыми объятиями Господь встречал душу. К церкви подъехали два автобуса. Кто-то их заказал и оплатил. Кто-то неизвестный, из тех ста, что из храма шли до подъезда за гробом. Прощальный кортеж вытянулся вдоль улицы, и я услышала: — Министра хоронят, что ли? Народу-то, народу. . .

От этих людей, любивших и живших со страстью, без расчёта, гордившихся красотой и корнями рода, преданных и искренних, ничего не осталось значительного, воплощённого, важного для

страны и народа. Они остались только в нас — глазами, бровями, осанкой. В нас, внуках, страсть и гордыня потускнели. В правнуках почти иссякли. Они уже не хотят душевных страстей и даже избегают их. Или, может, их страсти стали другие — работа, карьера, успех.

А я чувствую, как за мной стоят мои предки, им несть числа. И они держат меня, и они — мои корни, крепкие, вплетённые кровью и жилами в тела и души наши, святых и грешных. И я понимаю, почему и зачем пеку поминальные блины во Вселенскую родительскую субботу.

Накапливаются свидетельства о смерти. И с этим надо жить. Уже без всех них, на кого эти свидетельства выписаны.

— Любаш! — зовёт Нина. — Пойдём?

На кухне она помогает готовить салаты. Режет красиво, быстро, легко. Мне нравится смотреть, как она готовит. У неё, как у бабушки, маленькие, аккуратные и быстрые руки. Они сразу везде — моют, чистят, шинкуют и убирают стол.

— Ты мечтала о чём-нибудь таком... красивом, манящем? Научиться танцевать, уплыть на теплоходе в дальние страны?

Она останавливается и с недоумением смотрит на меня.

— Какие мечты? О чём ты? Замуж хотелось поскорее, чтобы свою семью иметь. С мечтами у нас — ты да Люся. Вечно летали в облаках...

Мне кажется несправедливо безрадостной её жизнь — пахаря, тянущего свой плуг непонятно куда, просто в поле, потому что оно стелется перед ней. Единственная работа, единственный мужчина, ни шагу в сторону от морали, устоев, правил. Она чище всех нас: ни измен, ни флиртов, ни разводов, ни вторых браков, ни выплеснутой обиды, ни высказанных разочарований. Сильная? Или глухая? Взяла крест и попёрла, пока не водрузила его над могилой мужа. И попробовал бы кто-то его отнять!

— Ты лучше скажи мне, почему женщинам пьяницы достаются? — неожиданно спрашивает она. — Карма, наверное, — отвечаю.

— Фу, ерунда, — она отмахивается от меня, как от беса.

— А я верю, — говорю я, — и в Божий промысел, и в шаманские бубны, и в силу мысли...

— И вот к чему ты сейчас это всё?

— А к тому, что все вы мечтали о чём? О любви. И вам всем её отвалили даже сверх меры. Вы хотели вырваться из трудной жизни большой семьи — и бабушка, и мама, и ты... и чтобы вас любили. Безумно любили, страстно! Так мечтали? Вам всё дали. Чем вы все недовольны, я не пойму? — Ну а счастья-то, Люба, от этой любви, а? Куда с ней? Одни слёзы. Мама моя настрадалась, твоя мама под конец жизни тоже...

— Для меня страсти и любовь — вещи разные. Слабости человеческие и любовь как соотносятся? Любовью пытаются лечить, спасти, шантажировать... А она ничто вообще другое, кроме неё самой...

— «Любовь долготерпит, милосердствует... не мыслит зла...» — читает она наизусть.

— И зла не мыслили, — говорю я.

Все они — поколение борцов. И за счастье — особенно. Я для себя выяснила: если «за» нужно бороться, путь изначально неверен. Я встаю на тропу войны только «против».

— Счастье — не баррикада, — говорю я, — оно не требует жертв и напора. Понимаешь, его не нужно как-то особенно строить, тем более за него сражаться. Счастью нужно просто идти навстречу. Ему открывают дверь и впускают. Всё. Для счастья совсем не нужен подвиг, этим оно и прекрасно.

— А что нужно?

— Только распахнутая душа.

— И много ты таких счастливых нашла? — смеётся Нина.

Сама она, удивительно прозорливая, что касается чужих судеб, свою испортила глупой принципиальностью. Женщины в нашем роду вообще плохо ладили с мужьями, если их интересы не совпадали. Нина искренне и глубоко, не каплей разума, но всей душой прониклась православием, родив не совсем здорового сына. С целью его оздоровления была куплена дача. Сын исцелился и окреп, пошёл телом в крупного, как медведь, отца, такой же спокойный и неразговорчивый. Нина, подвизавшись на дачный труд, продолжала копошиться все вечера в огороде, не заметив, как муж почти перебрался в гараж, а выходные проводил на рыбалке. Чтобы обратить его внимание на себя, она переехала в детскую комнату. Но муж всё понял по-своему — перестал заходить в другие комнаты, не лез с вопросами, не докучал разговорами. Семья превратилась в местоительство, и жизни пошли параллельно. Она заметила, что он умирает, за два месяца до похорон. Новый подвижнический путь расстилался перед ней, и она его одолела. Простила, но любовь к ближнему духом не подняла.

Большую трёхкомнатную квартиру, в которой исчезли все параллели, она отдала сыну с его молодой семьёй, предприняв сложный тройной обмен, и въехала в «однушку» своей бывшей свекрови. Родства ни с кем, кроме мамы, не поддерживала, невестку однозначно и навсегда невзлюбила. Подробности удивили меня только тем, что я никого не помнила и, казалось, вообще никогда не знала. — Бог всё видит, Люба, — часто повторяет она.

— Почему это так всегда утешает? — не понимаю я. — Мне бы, например, не хотелось, чтобы и вправду — всё. Я думаю, у Него есть заботы погромче моей звонкой судьбы.

— Да уж... — она снисходительна к кульбитам, которые я успела вытворить в своей жизни.

То, что я могу быть счастлива, развалив христианские догмы, любить Бога без древнего страха, доверять высшим силам, но брать ответственность на себя, кажется ей неубедительной и даже опасной платформой, на которой возможно строить жизнь. — Как Бог даст, — твердит она, большой труженик, положивший жизнь на алтарь, который мне смутно видится то в тихой церкви, то на суетной даче, то в беспечно устроенной кухне сына.

Моё незнание всего, что знали Нина и моя мама, спасает меня от того, чтобы увидеть людей другими. В моей жизни они останутся навсегда такими — только с одной стороны: они любили.

Нина красиво укладывает слоями салат и бросает вопрос, как всегда, прямо:

— Я только не пойму, тут свадьба или поминки?
— А чо позориться-то? Люди придут, — ворчит Славка.

И Зойка смущается:

— Чо скажут-то потом? Нельзя так. Надо, чтобы по-человечески...

И на мамин последний стол опрокидывается рог изобилия: икра, котлеты, тефтели, лапша, картошка, курица и почему-то салат «Мимоза». Праздничный. Славка вносит дорогие конфеты, печенье в обёртках, мороженое и фрукты.

— Всё-таки свадьба, — отвечаю я Нине и плохо скрываю раздражение.

Но, видит Бог, я креплюсь и не лезу с бревном за соринкой в глаз брата.

— Сначала намечались торжества, потом — поминки, потом решили совместить, — вставляет Саша.

Скорпионье жало в подправленной цитате замечаю только я.

Второй ангел явился в день маминой смерти коротко после полудня. Зойка вздрогнула:

— А это к чему?

— Не знаю, — сказала я и соврала.

Остальные полдня уговаривала Деда уехать с нами. Дед посмеивался, курил, сплёвывая в окно. — Мне так далеко не надо. Мне без неё одна дорога — на Береш.

За Берешем — кладбище. У меня нет убедительных слов. Я только снова и снова предлагаю поехать вместе: с нами будет не так тоскливо. Дед бросает окурок с восьмого этажа и возвращается на голую мамину кровать без матраса.

— Дед! — кричит Зойка из другой комнаты. — Можно, мы вещи тут заберём?

Он, не оборачиваясь от стены, хрипит:

— Да хоть машину подгоняйте.

— Пропьёт ведь всё, — они будто оправдываются — и Зойка, и Слава, и даже соседи.

— Это его вещи. Пропьёт — значит, пропьёт. Имеет право, — говорю я.

Не важно, была ли машина.

Когда гроб с телом мамы подвезут к подъезду, Деда хватит удар. Через сорок дней его похоронят к ней.

Я так и останусь виноватой перед ним за свои жестокие слова: «Теперь ты будешь с этим жить!» Я ведь уеду, даже не извинившись перед ним. И потом, по телефону, тоже не сделаю этого. Он умрёт один, в больнице. Его похоронят без меня.

Теперь я останусь с этим жить.

Дом бабушки в день похорон Деда сгорел полностью и навсегда. Мистическая фигура дома в истории нашей семьи всплыла в памяти после. Смерть Деда меня оглушила. Я шла по улице и рыдала в голос, как это делают дети — безудержно, когда от обиды и непонимания грозят не простить...

Нина сообщила об этом сухо, со спокойствием неопита, с уверенностью, что наконец под недремлющим оком все заслужили своё.

— Ты знаешь, что Иван мальчишкой со своего крещения сбежал? — спросила она.

— Сегодня у нас Иоанн Креститель? Вот он его и докрестит! — ответила я. — Завтра, кстати, православный День всех влюблённых.

— Надо же, как подгадал, — удивилась она.

В октябре, ко дню рождения мамы, могила Деда покрылась цветами. Странно и жутко было смотреть, как они проросли изнутри и тянулись с его пригорка на мамин холм. На выстуженной земле, на холодном ветру они выглядели нелепо. И напомнили Деда — на крепком упорном стебле, настырной породы, бесстрашные и обречённые на гибель, потому что холодно, пусто и всё бессмысленно.

Цветы никто не высаживал. Дед снова сам их принёс. В конце октября, из-под первого снега... Уже из-под земли. Уже оттуда. Натё вам напоследок, всем, кто не верил в любовь!

Так и вижу его, как несётся по полю, вскидывая ноги на кочках, высокий, сильный, с охажкой колосьев, льна, васильков, клевера и гвоздики. В сухом воздухе жарко пахнет пылью. От речки Куты влажный ветер тянет резкий запах спиленной сосны и смолы. Мама молодая, мне лет десять, и в мире нет смерти.